



24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, — не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятие, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я уславливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня — моих настроений и дум — пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь... теперь я уже *заранее* стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, — стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, — и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, она, для которой я делаю все это — моя милая, томная, жгучая, неприступная, — она и т. д.

Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторiku опять кусок своей души, сделать ее опять для себя понятной и близкой, а для другого — я это отлично понимаю [край страницы оторван. — *Е. Ч.*].

25 февраля 1901. Реликвии. Вот кусочек из моего письма к Сигаревичу (98 или 99 г.): «...хочешь узнать, как я провожу время? — Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть Дух, но (!) в 3-х лицах,

смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как это при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения... Потом завтракаю — почтительно выслушиваю от мамы, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным — дурно, что она меня даром кормит и что завтра же пойдет она к директору... Потом читаю, читаю глупо, бессистемно, не дочитывая до конца... В 2 часа обед. За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает. Съедаю огромное количество слив, яблок и валяюсь на диване. Потом часа в 4 приходит Кац, с ним мы читаем вместе, изучаем историю русской литературы. Узнаем, в каком году родился Некрасов и кто был отец Тургенева; узнаем, что литература — это зеркало; и, узнав все это, идем на житковскую лодку\*<sup>1</sup>, где катаемся почти ежедневно. Берем с собою Розенблост, Вольф, Кац, Зильберман. Они пищат, визжат, трещат и верещат. Возвращаемся поздно. Выслушиваю краткие, но выразительные речи, сплю... Вот и все... Не правда ли, славно?»

А вот одна сохранившаяся страничка из моего прежнего дневника:

27 сентября 1898 г. «Странные вещи бывают на свете! Иду я сегодня вечером и самым наивным образом балакаю с Машей. Она несколько раз обмолвилась, назвала меня Даней, но, в общем, все благополучно... Не дошли мы еще до половины квартала, как из-за угла показались 3 фигуры — 2 гимназиста, а один — этак штатский как будто. Маша мне не сказала ни слова, а только сильно ускорила шаги. Я обернулся — гимназистов нет! Что за черт! Бегу обратно, бегу, т. к. прохладно. Вдруг подбегает ко мне Сеня Гроссман, валит меня на землю, садится на меня верхом, колотит и спрашивает, где я сейчас был... „У Юзи...“ — „Врешь, — заорал Сеня, — ты провожал М...“ — „Да, провожал и объяснялся ей в любви“, — ответил я. „Нет, вы, наверно, философствовали о носовых платках, а впрочем, что ж? У Коли кровь молодая, играет, как вино искрометное“, — смеялся Даня...»

Интересно, что этого эпизода я совсем не помню. Помню свое о нем воспоминание, но его самого словно и не бывало.

Кусочек романа, который я писал, когда мне было 15 лет:

<sup>1</sup> Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги.

«Он не помнил, как это случилось, как это из религиозного мальчишка, встававшего в полночь для тайной молитвы [край страны оторван. — *Е. Ч.*]. А тогда ему было не до смеху, тогда, помнится ему, он подсадовал на нищих, но немного спустя ему пришло в голову, что по христианству осуждать брата, называть его подлецом — грешно, и он тотчас же вычеркнул из своей головы грешные мысли и заставил себя думать, что виноват, собственно, он, а не нищие... Такие зачеркивания происходили довольно часто. Захотелось ему в пост мяса — он сейчас заставляет себя думать: нет, мне мяса не хочется, мне хочется гороху, и так всегда и во всем. А как он зато был счастлив! Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти улицу, — он уверен, что там, где-то наверху, кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, т. к. себя он любил больше всех, т. к. хотел для своей души как можно лучшее достояние...

А теперь, теперь он с тоской жметя к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что...»

Ей-богу, ничего себе. Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний? Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнего себя.

Дневник — громадная сила, — только он сумеет удержать эти глыбы снегу, когда они уже растают, только он оставит нерастаянным этот туман, оставит меня в гимназической шинели, смущенного, радостного, оскорбленного. Вот слушай, дневник, оставь мне навсегда это, — я иду от Ф. ...Половина десятого. Я должен уйти, туда пришла она... Иду и смеюсь... Она, гордая и чужая, требует, чтобы я ушел немедленно, она близка мне, она понимает, сочувствует, любит, она вся во мне... Вот она идет со мною, она знает, как это натягивают шинель и хлопают калошами по лужам, как это размахивают руками, как это говорят: до свиданья, господи! — она знает, эта суровая жидовка с нахмуренными бровями, она говорит мне: «или я, или ты», а это звучит для меня «милый, дорогой, близкий, понятный, и я, и ты», — о, если б ты имел силу удержать навсегда это, чтоб ни один кусочек сегодняшней жизни моей не

ускользнул от тебя... Что там? «Монистический взгляд на историю». Дивный монистический взгляд. Доня, шахматы, Ибсен, первые проблески весны, через 3 недели 19 лет, — все это годится для того, чтобы у меня лет через 20 вырвался крик зависти, щемящей зависти к самому себе. (Без 10 м. 10 ч.)

Продолжаю собирать клочки. В 14 лет я написал пародию на Лермонтова:

- 1) Когда весь класс волнуется, как нива,  
Учитель уж дошел до буквы К;  
Как в саду малиновая слива  
Спину соученика
- 2) Когда глаза обращены в бумагу,  
А сам я жду, когда бы поскорей  
Наш страж порядка, наш Фаддей,  
Пролетел звонком таинственную сагу.

(оборвано) не помню. Конец такой:

Тогда-то, чуть задрезжит звонок,  
Смирятся души моей тревога,  
Тогда расходятся морщины на челе.  
Тогда благодарю сердечно Бога,  
И пятки лишь мои сверкают по земле.

**27 февраля.** Утром в 6 часов был у Вельчева, давал урок. Буду делать так каждый день. Сильный южный ветер. За тучами солнца не видать, но оно чувствуется. Если бы я был поэтом, я сказал бы: так я, не видя Маши, чувствую ее. Сегодня вторник, вечером лекция. Я в десять часов встречу ее на ее крыльце и скажу ей: у тебя домоседские, семейственные наклонности. Ты живо и сильно привязываешься к людям... Тебе будут мои метанья не по сердцу. Тебе будет скучно по всем, кого я здесь брошу без капли жалости. Я тебе наскучу своими книжками да болтовней... Вот 3 вещи, которые ужасают меня. Скажи, что это не так; но если это так, что тогда? Не отнимай у меня опять моих надежд... Не отвечай мне ничего. Тогда... что тогда?.. Детко мое!

Буду продолжать свою «лекцию». В 4 часа пойду к Лизе и попрошу ее научить меня шить. Она хотела, чтобы я стал ее спрашивать, почему ей нужно, чтобы мы расстались. В этом кокетстве много искренности, но теперь меня интересует одно — чтоб она научила меня шить.

Что это такое? На меня иногда находит такой столбняк, что я ни одной мысли самой простой не могу выразить.

*Теперь 10 м. 5-го.* К Лизе не пошел, «лекции» не писал, а разбрасывал снег, царапал себе лицо и бегал за молоком.

Уже больше 3-х лет не было у меня такой пустоты, как сейчас. Интеллектуальной жизни для меня почти не существует. Страдать от какой-нб. идеи, от «теории» я теперь не умею. Пропала и потребность в этих идеях и теориях. И я догадываюсь почему. За 2 эти месяца вокруг меня только и делалось, что спрягались слова «любить», «ненавидеть», «презирать»; писались длинные письма, содержание которых я забывал через 2 минуты, в товарищах у меня оказалось такое пустое место, как Митницкий, — и вот результаты. Ну ничего, авось с Машкой догоним!

Вот стихотворенья, которое я написал ей год тому назад (а впрочем, потом). Пустота, пустота и пустота. Буря бы грянула, что ли!\*

Все мысли, какие приходят в голову, вялы, бесцветны, бессодержательны, — мышление не доставляет, как прежде, удовольствия... Хорошая книга не радует, да и забыл я, какую книгу называл прежде хорошей. Раньше, когда находили на меня такие настроения, я их утилизировал, извлекал из них наслаждение, — я носился с ними, гордился, миндальничал, а теперь — просто бессилие, и больше ничего. Вот даже дневника не могу вести. Теперь бы пошел я к М. Дернул бы ручку. Подождал. Через 3 минуты задержался бы засов. «Здравствуйте». Запах углерода. Ну а потом? Нет, я и к Маше не хочу.

Взял Некрасова. Хромые, неуклюжие стихи, какой черт стихи, — газетные фельетоны!

Идти на улицу, лужи, холодно, не к кому, рожа расцарапана...

*Теперь 9 часов.* Прочитал Глеба Успенского «Поездка в Сербию» — словно поговорил с умным, чутким, сердечным человеком. Был у меня Доня. Слушал, как я читаю ему Некрасова, спал на моей кровати, пил чай, курил. Он как в воду опущенный. Лишился, бедняга, урока. Маше написал записку. Изложил то, что хотел изложить устно. Я перед нею глупею, и нет у меня слов, нет у меня ничего... Так я лучше письменно... Пойду и стану в точке *a*. Это самое короткое расстояние. Хотя лучше бы в точке *b*. Посмотрю. Как бы Сигаревич не того... На небе вызвездило, ветер большой. Это хорошо. Иначе — туман и гниль. А ведь ей-богу мой

дневник похож на дневник лавочника. Какие-то метеорологические заметки, внешняя мелочь...

Ну так что ж? Природой я всегда интересовался (не с эстетической точки зрения, а скорее с утилитарной), а мелочи мне теперь на руку. Довольно я с «крупным» поинститутичал.

«До известного момента!» Она сказала: «До известного момента!» Ура. Стало быть, она не переменяла своего решения. Что и требовалось доказать. Половина 11-го. Спать. А письмо мы все же спрячем. Вклеим. И покажем ей в «известный момент». Момент ли? Известен ли?

**28 [февраля].** Был у Вельчева. Снег. Когда шел туда в три четверти шестого, у М. горела лампа. Неужели она так рано встает?

**1-го марта.** Лампа опять горела. Кто у них так рано встает? Ф. наговорила мне дерзостей и глупостей, которых я не заслуживаю. Я всем говорю, что еду, для того чтобы не заподозрили никакой задней мысли. С самым простодушным видом подхожу к каждому знакомому: знаете, я через неделю еду. Куда? В Аккерман... — экзамен держать. Ф. видит в этом профанацию чувства к М. ... М. сказала мне, что она ни за что не скажет Ф., что любит меня. «Она не поймет... Ну, скажите, на каком языке я объясню ей это, чтобы она поняла?» Я согласился с этим и не сказал ни слова Ф-е. Вдруг вчера Ф. говорит мне: «Скажите, как вы относитесь к плану М.?» Кровь бросилась мне в голову. «Неужели это они только условились. Неужели М. сказала ей все?» Оказалось еще худшее. М. ей всего не сказала, а пожаловалась на меня, что я подбегал к ней. Это не годится. Черт знает что может подумать Ф. Я сделал один промах. Говорю ей: «Ф., скажите мне, когда вы уверяли меня, что М. меня не любит, вы уже знали, что это неправда?» Удивленное лицо. «Неужели вы думаете, что она вас любит? Да как вам не стыдно!..»

Милая М., если б только одно слово!..

**2 марта.** Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко.

Позанялся с ним, наведаясь к Надежде Кириаковне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. Благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду

ду — это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, которые в церковь ходят, чтобы пошутиться, показаться, а не — и т. д. Несколько раз, подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками.

И так дальше. Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви\*. Я не согласен ни с одной мыслью Толстого, убеждения его мне столь же дороги, как и убеждения Жужу, — и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-летнего юноши начинаю цицеронствовать.

«40 лет, — говорю я, — великий и смелый духом человек на наших глазах кувьркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувьркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова... Мы стояли, разинув рот, и говорили, позевывая: „Да, ничего себе. Его от скуки слушать можно...“, и руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот... наконец мы благоволили вытащить руки, чтобы... схватить его за горло и сказать ему: как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать? В 74 года это не полагается...» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо...

Т. е. не глупо, говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас, но зачем? Как хорошо я сделал, что не спросил себя: зачем? Какое это счастье! Если бы я был когда-нб. наверное убежден, что хочу видеть М., хочу на самом деле, а не выдумываю этой потребности, она сейчас сидела бы возле меня и ее холодные руки лежали в моей красной, громадной руке. Но... черт его знает, хочу ли я. Зачем это бывает так редко, что мы не спрашиваем себя ни о чем, а делаем так, как вырвется у нас? Да если б мы имели эту способность. Боже, как бы сильны мы были! Маня Ландесман, Сигаревич, Митницкий — и вообще вся эта дрянь — да ведь они скалы передо мною.

И теперь я не посмеюсь над своею нелепой речью, не пожалею, что стал похож на этих милых идиотов. Но главного я не сказал. Говорил я свою речь, говорил, и так мне жаль стало себя, Толстого, всех, — что я расплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши «в моей душе», присутствие, которое делает меня таким



глупым, бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая... Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную. Как? Помогите мне...

Говорю я это и не верю себе ни в грош. Может быть, мне свобода не нужна. Может быть, нужно мне кончать гимназию\*, м. б. все это [край листа оторван. — *Е. Ч.*].

**3 марта.** Полка книг, — а впрочем... К маю-июню научимся английские книги читать, лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-нибудь в глубинах Кавказа, денег бы насобирать и марш *туда!* А чтоб денег насобирать — работать нужно. Как, где, что? Не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть... Мы хотим обмана, незнания, если обман и незнание дают счастье. Нет ни одного влюбленного, который, узнав свою возлюбленную, продолжал бы любить ее. «Я ошибся, я обманулся», — говорит он через месяц. Я ни за что никогда не хочу ни произносить, ни слышать от нее таких слов. «Чем я был пьян, вином поддельным или настоящим, — все равно!»\* Лишь бы быть пьяным. Если я узнаю, что это вино поддельно, я перестану пить его — и не достигну цели своей — быть пьяным. Так я предпочитаю не узнавать, каково вино. «Дай мне минувших годов увлечения, дай мне надежд зоревые огни...»\* и т. д. «Все ты *возьми*, в чем *не знаю сомнения*, в *правде* моей — *разуверь*, *обмани*, дай мне...» и т. д. И выше: «Дай мне опять *ошибаться* дорогами!» Вот чего я прошу от всех, от судьбы, от людей, от труда, вот в чем единственный исход... (Об этом нужно будет сказать Сократу.) Ну так — стало быть, тайна, ошибка. Умышленная ошибка! По условию: ты обманываешь меня, а я обману тебя. Как же достичь этого лучшим манером?

1) Не быть вместе, т. е. занять большую часть дня отдельной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдель-

но... Если можно, даже устроить себе препятствие, т. к. препятствие усиливает желание.

Обедов не устраивать. Домашний обед — фи! Совсем как Ключе с Геккер... Молоко, какао, яйца, колбаса — мало ли что? Лишь бы не было кастрюль, салфеток, солонок и др. дряни... Это первый путь к порабощению. Я уверен, что какой-нб. кофейник — гораздо больше мешает двум людям порвать свою постыдную жизнь, чем боязнь сплетен, сознание долга. (Фу, какое скверное слово, опозитизированное, как знамя.) «Дикая утка» — почему муж остается с женой. (Кстати... Был у меня рассказ, как одна девушка в холерный год делает чудеса самопожертвования, не боится ни заразы, ни невежества мужиков, ни интриг фельдшеров — ничего и, когда ее переводят из тесной каморки учительницы в крестьянскую просторную избу богатого мужика, уезжает, испуганная словами жены этого мужика, что в избе много тараканов.) Долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще, все лишнее и ненужное! Смешно! Она прямо и сознательно сказала мне: я, Коля, отдам вам всю жизнь. А если бы я попросил у нее, чтобы она ходила в платке и не надевала бы шелковой кофточки, она этого не сделала бы. Тараканы, тараканы!

3) Нужно заботиться, чтобы жить возможно больше общими интересами. Чтобы мое слово не стало для нее никогда чужим и бессмысленным, чтобы мое желание прочитать эту книгу стало ее желанием, не только потому, что оно мое...

Как же сделать это? Нужно заняться вместе с нею чем-нб. таким, чего мы оба в равной мере не знаем. Ну вот хотя бы историей. Политическую экономию мы с нею проштудироваем так, что только держись. Вообще, этого я не боюсь. Ее «босячество» мне в этом порукой.

Когда я говорю слово «босячество», мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы... Где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе — раз, два, — и никаких. Руки в карманы. И кричать, и петь, и плакать. Смотришь, над полем медлительные вороны обделывают свои темные делишки... собираются в какую-то шайку. Кричишь им: «Эх вы, вороны! Вороны! Ну что такое вороны! Глупые вы вороны! Зачем?»

И потом идешь дальше и часа два твердишь себе в душе: вороны, вороны.

Вот такое настроение, которое возникает от такой обстановки, у такого человека, в такое время, я и называю «босячеством». (Боюсь, что через год я не пойму этого определения.) Ну, так я говорю, что у Маши этого босячества — тьма. На него я возлагаю большие надежды. Но тараканы, тараканы... Те самые, что завелись в телефоне чеховского «Оврага»\*, вот чего я боюсь. Тот рассказ о тараканах. Сюжет его очень труден, в моем теперешнем изложении он кажется даже неправдоподобным. Но у меня это рассказывается так естественно, так просто, читатель так вводится в круг событий, что под конец — когда героиня убегает — он не то что понимает, а даже чувствует, что и он сделал бы так... Здесь в этом рассказе типично и характерно не действующее лицо, а самое положение. Здесь читатель не воскликнет: «Ах, сколько таких людей я видел вокруг!» — нет, он скажет: «Сколько раз я был в таких положениях! Разве не потому я отдал сына в гимназию, что боялся тараканов! Разве не тараканы помешали мне бросить и ассессорство, и столоначальничество, и винт, и серебряную табакерку на 25-летнем юбилее, разве не от тараканов дочка моя Любочка вышла замуж за... и т. д.»

Не то я говорю... Я иногда через минуту не понимаю своей мысли. Мне хотелось поговорить о типичности положений, а съехал я на разговоры о мелочи житейской (хотя, ей-богу, под тараканами подразумевал кое-что крупнее мелочей). Джером Кл. Джером где-то говорит, что, если ищешь какую-нб. книгу, она всегда оказывается последней. Поговорю об этом потом, а теперь пушу Меланью прибираться, а сам читаю.

Только что кончил П. Бурже «Трагическую идиллию». Первый и, надеюсь, последний роман этого автора я читал. Читал я его с такими перерывами, теперь, одолевая конец, вряд ли бы мог рассказать начало. Впечатление, однако, я получил цельное и очень определенное. Очень наблюдательный человек, умный, образованный — Бурже абсолютно не художник. Всякое лицо появляется у него на сцену готовым, известным нам досконально, и это знание мы получаем не из поступков героев, а из разглагольствований автора. Они, эти заранее приготовленные фигуры, дергаются потом автором за привешенные к ним ниточки, и ни одного их качества, ни одной стороны их характера мы из этих их движений не познаем. Художественного восприятия нет, а есть только холод-

ное научное понимание. Притом же Бурже нисколько не скрывает, почему он дернул именно эту веревочку, он считает своим долгом *объяснять* каждое свое «дерновение»... «Пьер, — говорит он, — поступил так-то и так-то, потому что все природы такого рода, когда с ними случается то-то, делают так-то». Сколько измышления, сколько выдуманности и холодности в таких объяснениях, в таком выставлении напоказ своей художественной лаборатории. Мыслить образами — да разве можно художнику без этого! Да будь ты хоть распреумный человек, но, если ты не можешь познать вещь иначе как через длинную логическую цепь доказательств, произведение твое никогда не заставит нас вздрогнуть и замирать от восторга, никогда не вызовет слезы на наших глазах... Сколько ума, наблюдательности вложил Бурже в свой роман... Каждое слово его — показывает необыкновенную вдумчивость, каждое лицо его — как живое стоит перед нами. Но жило оно до тех пор, как Бурже ввел его в свой роман, чуть оно попало сюда, чуть он перестал говорить о своих героях, а пустил их на свободу жить — он не сумел стать в стороне от них да и смотреть, что из этого выйдет.

Нет, он стал справляться с рецептами учебников психологии и т. д. Поневоле вспоминается наша «Анна Каренина», это дивное окно, открытое в жизнь. Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, который сталкивал их, как было ему угодно; забываешь. А когда вспомнишь, как громаден, безграничен кажется этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь!..

А здесь? Сколько пресных рассуждений потребовалось для того, чтобы оправдаться перед читателем за то, что баронесса Эли высморкала нос в четверг, а не в пятницу, сколько жалких слов требуется для него, чтобы заставить меня посочувствовать этой бедной, оскорбленной женщине... жалких слов, которые так и не попадают мне в сердце, а вечно суют мне в глаза автора, который неумело пригнулся за ширму и дергает за веревочку своих персонажей, заботясь больше о том, чтобы была видна его белая артистическая рука, чем о движениях своих марионеток. И я, воздавая дань справедливости Полю Бурже, должен сказать, что рука у него гладкая, белая, холеная, — но и только.

Теперь у нас все идет к весне, хотя все мы упорно держим в голове, что март бабу заморозил. Март — самый капризный месяц. И настроение у людей в марте по сорок раз в день меняется... А неизменным остается одно: чувство недоверия, подозрительность, мнительность. На дворе солнце, подле Вельчева травка, а в голове «замерзшая баба». Вот месяц, когда царь Давид мог бы и скинуть свое кольцо с надписью «все проходит» (если ношенье его было, конечно, неудобно)... Стоило ему глянуть в окно. Вон у меня в окно видно горничную Косенко. Стоит в платочке, замечталась, в небо глядит. И чувство чего-то необычного и в этом стоянии, и в этом мечтании — как-то веселит и пугает меня. Точь-в-точь кольцо Давида. Черная (а не зимняя серая) туча разорвется, и оттуда глядит синее небо, новое, незнакомое, забытое... Смотрю вверх и думаю: что это меня испугало? — А! Это новый узор облаков. Раньше испугаешься, а потом дашь себе отчет, почему испугался.

Прочитал Успенского: «Умерла за направление». Собственно — перечел. Лет 5 тому назад он уже попадался мне под руку.

Максим Иванович, от лица которого ведется рассказ, этот человек, вечно помалкивающий в уголку, не умеющий связать двух слов, вечно отвлекающийся, — вот художник, громадный, стихийный; иначе как образами он и думать не умеет... Образы борются в нем, переливаются, сталкиваются, рвутся наружу, — и всем не художникам людям кажется, будто человек этот, раздраемый образами, отдающийся их власти, будто он просто-напросто не умеет правильно мыслить.

Рассказывает он про одного обстоятельного человека. Другой бы прямо сказал: так и так, обстоятельный был человек. Этот так говорить не умеет. Он приводит несколько эпизодов из жизни этого человека, заставляет его двигаться, говорить, жить — и мы из этих его движений да говорений выводим: обстоятельный человек. Меня, конечно, нисколько не соблазняет параллель между Бурже и Максимом Иванычем. Я это так, к слову, а я про другое. Про распространение идеи в обществе. Для этого следовало бы профессора Крживицкого прочитать да боборыкинским «Однокурсником» и приложить. Мне всегда казалось подозрительным и антихудожественным то маленькое обстоятельство в романах этого господинчика, что он показывает нам людей, сконцентрированных у данной идеи, стоящих, так сказать, у ее очага, у колыбели ее, а многие ли стоят у колыбели? 10–15, не больше. А идея

раскинется геть широко, широко, и опынется<sup>1</sup>, глядь, где-нб. на Чукотском носу, преломленная, отраженная, изменившаяся до неузнаваемости, неощутимая теми, кто выражает ее, на шкуре кого она вырисовывает разноцветные узоры. Декадентство!

Г-жа Цадик спрашивает: мама вдома? — «Дома, дома! Пожалуйста!» Маня пошла зажечь в «апартаментах» лампу, — писать мне больше не хочется. Теперь четверть седьмого. У мамы денег нет. Дал Меланье на обед деньги я. Жалко — страсть. На котлеты, суп и молоко пошло 89 коп., причем суп вчерашний. Был у меня сегодня Кира. Я рассказывал ему свои гимназические похождения. Впрочем, нет, теперь не четверть седьмого. Я забыл. Часы стояли. Спросил у Мани. Без четверти восемь.

Видал вчера ее... За полуквартал от дома. Ни взглядом, ни движением не показали мы, что знакомы друг с другом. Оденусь и пойду звать Федору пройтись. «Русское самосознание» — мочи нет, надоело.

В-о-с-к... — Воск! Что такое воск? — «Не знаю»... — А в церкви была? — «Была». — Свечку ставила? — «Ставила». — А из чего свечка сделана? — «С воску». — «Ну, вот видишь, ты знала, что такое воск».

Большая мама лежит и еле улыбается, ей нравится все это священнодействие. Тихо, чисто в комнате, ее любимая взрослая дочь мирно трудится — все уютно, патриархально, ей хочется улыбнуться, она не может, сил нет.

Только что пришел со двора. Скверно и гнило. Федоре сказал, что сегодня читать с нею не буду. Вернулся домой.

Сейчас лягу спать и почитаю в постели что-нб. легенькое.

С невинной Мальвиной  
У длинной Федоры  
Сидел я в гостиной  
И вел разговоры.  
«В угоду народу, —  
Сказала Мальвина, —  
В огонь я и в воду»  
и т. д.

<sup>1</sup> Окажется (укр.).

Завтра почтальон принесет мне ответ от Вольдемара... Ровно 2 недели. Неделя туда, неделя обратно.

**4 марта. Воскресение.** Нет еще и девяти часов. Пришел от Вельчева... Погода великолепная. Утром — небо розоватое, ветерок подсушил дорогу. Камни беленькие, чистенькие, крыши сухие и матовые... Здоровье и надежда.

Вчера на ночь прочел хорошенький рассказик. С французского. Заглавия не помню. [Пересказ рассказа пропущен. — Е. Ч.]

Жить ожиданиями, надеждами нельзя — старость — время, когда живут прошедшим, воспоминаниями, и — да здравствует человеческая способность обманывать себя! — старичок начинает внушать себе, что он мог бы быть человеком. Что в прошедшем случилось что-то несправедливое, обидное, и отрадная грусть, горделивое смирение — все эти приятные для человека чувства, не позволяющие ему оскорблять себя, — наполняют их сердца и позволяют им жить спокойно и тихо долгие годы, сойти торжественно в могилу.

**6-го марта.** Все написанное мною под пятым марта — кусок черновика «Разбор баллады Толстого В. Шибанов» для какой-то гимназистки 8-го класса<sup>1</sup>. Доня доставил мне этот заказ... Исполнив его в три часа, я получил 3 рубля. Ничего себе. Был у меня 4-го числа Вельчев, я с ним занимался от половины седьмого до половины одиннадцатого. Читали «Историю» Соловьева, делали алгебраические задачи... Да, кстати, мой месяц у него начался 2-го числа; те дни я остался ему должен; он же задолжал мне полтинник. Стало быть, я даю ему уже пятый урок, как бы не сбиться.

Так он писал темно и вяло,  
 Что декадентством мы зовем,  
 Потом главу из «Капитала»  
 Читал с Онегиным вдвоем.

Пришло мне в голову написать современного «Онегина» — пародию\*; фельетончик, что ли!

Ничего не ел, аппетит пропал. Устал я очень, бессонница. Эх, если б можно было сегодня же удрать! 3 недели. Как я вынесу их? Эти 3... Уже лет пять я не жил так однообразно, так гнило. Мела-

<sup>1</sup> Сочинение об Ал. Толстом, написанное для заработка, исключено.

нья говорит: «Потарамкал, потарамкал супу, да так полную тарелку и оставил...» Попробую сейчас молоко пить... Ты, я знаю, не любишь молока... 3 недели... Видеть тебя издали, не протянуть тебе руки, не оглянуться, оставаться в полнейшем неведении о твоих желаниях, планах, мыслях, — Маша, ну что это ты делаешь!

Мама больна. Ни кровинки на лице. Еле говорит... (Книги, какие я возьму с собою: Михайловский, Успенский, Бокль, французский словарь, английский словарь, Олендорф, Royal-readers<sup>1</sup>, атлас, Пушкин — больше ничего. Продам все. Из учебников: латинский и греческий словарь, латинскую грамматику, алгебру, физику, Закон Божий и т. д.) Мамочка, — прости меня. Разве я имею право иметь какие-то там настроения, писать пустые дневники, любить, терять аппетит — не оправдав твоих надежд, не сделав ни шагу к тому, чтобы оправдать их. «Ах, на что мне судьба буржуазии, если я не окончил гимназии», — вот моя пословица.

**Март... 7-го, среда.** Красота, и больше ничего! Красиво сказать:

Товарищ, верь: взойдет она,  
Заря пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

*(Чаадаеву, 18 г.)*

*Пушкин* говорит. Но, с другой стороны, очень красив и такой возглас:

Зависеть от властей, зависеть от народа — не все ли нам равно?  
*(36 г., Пиндемонти якобы.)*

Он и возглашает.

И не в возгласе дело. А в настроении. Красиво и упоительно быть пророком отчизны своей — вот вам «Клеветники России», где Наполеон назван наглецом, а вот вам в «Пиндемонти»: «Не все ли мне равно, свободно ли печать морочит олухов иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура?»

Все равно! Ну а в послании к цензору (24 г.):

Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,  
Благодаря тебя, не видим книг доселе?\*

<sup>1</sup> Учебники по чтению фирмы «Royal» (англ.).



**Чуковский К.**

- Ч 88 «Жизнь моя стала фантастическая». Дневники. Книга первая. 1901–1929 годы / Корней Чуковский. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 960 с. — (Non-Fiction. Большие книги).  
ISBN 978-5-389-22573-2

К. И. Чуковский оставил обширное творческое наследие, включающее публицистику, переводы, литературную критику, работы по филологии, мемуаристику. Большой интерес представляют и дневники, которые он вел всю жизнь. В настоящем издании публикуются записи 1901–1929 годов. Начало творческого пути, художественные искания Серебряного века, затем революция и Гражданская война, тяжелейшие утраты и испытания, всесоюзная известность — и борьба с «чуковщиной»... На страницах дневников предстают и многие выдающиеся современники Чуковского, с которыми он был хорошо знаком, — Репин, Блок, Гумилев, Горький, Короленко, Ахматова, Мережковский и др.

УДК 82

ББК 84(2Рос-Рус)6

Литературно-художественное издание

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ

«ЖИЗНЬ МОЯ СТАЛА  
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ»

*Дневники*

Книга первая  
1901–1929 ГОДЫ

Ответственный редактор Алла Степанова  
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Ирины Варламовой  
Корректоры Валерий Камендо, Ольга Попова, Валентина Гончар  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 13.02.2023. Формат издания 60 × 88<sup>1/16</sup>.  
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 58,8.  
Заказ № .

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,  
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,  
комплекс № 3А.  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)



A-NFB-31550-01-R